Николай Карамзин

Лиодор



Часть сборника
Бедная Лиза (сборник)

Лиодор
Николай Михайлович Карамзин

Аннотация
Николай Карамзин. Лиодор

Аннотация

«Уже холодные ветры навеяли бледность и мрак на печальную Природу, когда Агатон, Изидор и я поехали в деревню – наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной, – никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи – внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, – чувствовали трепет в сердцах своих и с красноречивым молчанием друг друга обнимали…»

Николай Карамзин
Лиодор

Уже холодные ветры навеяли бледность и мрак на печальную Природу, когда Агатон, Изидор и я поехали в деревню — наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной, — никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи — внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, — чувствовали трепет в сердцах своих и с красноречивым молчанием друг друга обнимали. Счастлив, кто имеет нежную душу — душу, которая примечает все движения Природы и вместе с нею изменяется в чувствах своих — цветет и увядает вместе с нею! Все, что представляется глазам его в пространной области творения, размножает его бытие и бывает для него предметом наслаждения; всякая слеза, им проливаемая, рождает ему новую радость, иногда тайную, неизъяснимую, но тем глубже чувствуемую и тем блаженнейшую радость. Но еще стократно счастливее сей смертный, когда найдет он подобного себе человека, которого душа есть также чистое зеркало Природы. С чем можно сравнить быстроту того движения, с которым они, при первом

взоре, бросаются обнять друг друга, и в глазах Неба заключить навеки священный союз дружества, союз твердейший основания земли? Кто опишет то несравненное удовольствие, с которым они сообщают друг другу свои симпатические чувства — иногда безмолвно — одним взором — одним пожатием руки? Милосердое Небо!.. в сию минуту катятся слезы мои на бумагу — слезы скорби — ах, нет! — слезы умиления, благодарности! Хотя вы, мои любезные — нежный Агатон, Изидор чувствительный! — сокрылись от глаз моих, подобно как восхитительные мечты летней ночи на заре исчезают; но в сердце моем остался цветущий ваш образ — и часто, в веянии ветерка, несущегося от могилы вашей, слышу я голос, утешительный и любезный; одна тонкая завеса разлучает нас; скоро и она подымется!.. Прости мне, милая Аглая! я возобновляю твою горесть; но ты сама велела мне говорить о друзьях наших; могли ли слезы удержаться в глазах моих?

Более месяца прожили мы в деревне, и никто из нас не чувствовал скуки. Часто бурные ветры потрясали окончины в ветхом домике нашем и печально выли в трубе камина, перед которым мы по вечерам сиживали; часто поля покрывались снегом, но мы все еще в полях гуляли,

не страшася ни вьюг, ни метелей. Наслаждаясь Натурою и дружеством, сердца наши не чувствовали в себе никакой пустоты, и потому мы не искали знакомства с соседними дворянами, которое могло бы прервать течение приятных минут наших и быть нам в тягость; но Судьба хотела нас познакомить с одним из них — и память его пребудет для меня всегда священною!

Однажды поутру шум ветра пробудил меня ранее обыкновенного. Друзья мои спали еще крепким сном. Я взял трость свою — ту самую, любезная Аглая, которую некогда ты мне подарила и которая была мне верным сотоварищем во всех дальних моих путешествиях, — и пошел в рощу, которая примыкала к нашему саду. Вообрази мое удивление, когда я под иссохшими ветвями высокого дуба увидел стоящего молодого человека в черном фраке, совсем мне незнакомого и притом такого, каких не много встречалось глазам моим в свете! Прекрасное, умное лицо — большие черные, огненные глаза, светлое зеркало великой души, — открытый, высокий лоб, с тремя или четырьмя ровными, углубленными чертами, которые показывали опытность и претерпенные печали, — бледные щеки, с самою тонкою розовою оттенкою — и еще нечто

такое, чего описать невозможно, но что всего сильнее действует на сердце, — одним словом, любезная Аглая, представь себе второго Изидора, когда ему было двадцать семь лет от роду и когда ты увидела его, после тяжкой сердечной болезни, стоящего в аллее Д***го саду.

Облокотясь на сук дерева, он казался углубленным в самого себя; северный ветер развевал его русые, ненапудренные волосы; круглая шляпа и белый платок лежали у ног его. Около трех минут я рассматривал его, не будучи им примечен; наконец он поднял голову, взглянул на меня — и отступил шаг назад. Я снял шляпу и, сказав *радуюсь доброй встрече*, протянул ему руку. Может быть, вид и голос мой показали ему искренность моего сердца: по крайней мере, он встретил руку мою на половине пути и пожал ее с улыбкою дружелюбия. «Извините меня, — продолжал я, — если приход мой вывел вас из приятной задумчивости; но хозяин спешил встретить любезного гостя». — «Я ваш гость! — сказал он таким голосом, который был в совершенной гармонии с его лицом и показал мне новую красоту в душе его. — Итак, я стою на вашей земле?» — «Здесь в роще покоится прах моего деда». — «Простите же незнакомого,

который приближался к этому освященному месту без вашего позволения». — «Он мне знаком, потому что я смотрю на него». — «Итак, вы верите физиогномике?» — «Верю Натуре и своему сердцу». — «Ах! и я верю им!» — Тут он обнял меня — и жар его объятия дал мне чувствовать нежность его сердца. «Но скажите мне, — продолжал он, держа меня за обе руки и смотря мне в глаза, — скажите, кто вы?» В немногих словах удовлетворил я любопытству его; после чего незнакомец мой сказал мне, что он помещик соседней нашей деревни, в которую недавно приехал и в которой со дня приезда живет уединенно; что он любит ходить пешком и, увидев нашу рощу, зашел в нее, не зная, кому она принадлежит, и не зная вообще никого из соседей своих. «Теперь вы узнаете по крайней мере троих, — сказал я, — и притом таких, которые постараются усладить ваше уединение, не лишая вас ни одной из приятностей его. Пойдемте; в десяти шагах отсюда под смиренною кровлею маленького домика найдете вы еще два сердца, которые могут вам сочувствовать». — «Итак, вас трое? — сказал Лиодор, — но этого слишком много для одного дня; или судьба награждает меня за долгое терпение». — Он поднял шляпу

свою; мы взялись за руки и через сад пришли в дом. Изидор и Агатон с удивлением посмотрели на прекрасного незнакомца, идущего к ним с распростертыми объятиями. «Это наш сосед, друзья мои! — сказал я, — он достоин любви вашей». — Они обняли и — полюбили друг друга.

Лиодор рассказал нам, что он вырос в чужих краях, много путешествовал и только за два месяца перед тем возвратился в Россию; что, прожив несколько недель в Москве, удалился он в деревню, которая была бы для него очень приятна, если бы иногда не чувствовал он нужды сообщать мысли свои подобному себе человеку. «Когда бы я знал, — примолвил он с улыбкою, — что у меня такие соседи! Но как было мне искать вас в таком отдалении от столицы, за дремучими лесами, на краю Европы и в то время, когда осенние бури выгоняют жителей из самых подмосковных деревень? Вы, право, чудные люди, государи мои!» — Напротив того, мы также называли его чудным человеком, смеялись и с чувством сердечного удовольствия пожимали друг у друга руки.

Забыв время, он пробыл с нами до полуночи, согласился у нас ночевать, и на другой день поутру пошли мы вместе в его деревню, которая была

в четырех верстах от нашей. Там, на высоком берегу реки Ревы, стоял большой деревянный дом, построенный в начале текущего столетия и весьма близкий к своему конечному разрушению; мох, трава и самые дерева росли на его гниющей кровле, под свесом которой гнездились тысячи голубей, галок и других птиц, составлявших криком своим всегдашний дикий концерт, и на которой, подобно башням, торчало, по крайней мере, двадцать слуховых окошек; он обведен был рвами, некогда глубокими, но временем отчасти заглаженными, — тут жил Лиодор с камердинером французом и с тремя слугами. Комнаты были одна другой меньше и темнее; везде свистал ветер, хлопали двери, стучали окончины (по большой части перебитые), и тряслись доски, по которым мы шли. Хозяин выбрал для своего кабинета самую верхнюю комнату, которая в свое время называлась *теремом* или *светлицею*. В сих теремах, любезная Аглая, сиживали в старину красные девицы, подгорюнившись, смотрели в поле чистое, ждали милых своему сердцу и, не видя их идущих, проливали слезы горючие из ясных очей своих; вздохи тяжкие, сердечные, колебали грудь их белую.

Француз принес нам кофе и, дуя себе на руки,

окостеневшие от холода, проклинал жестокий наш климат; а мы разговаривали о тех временах, когда русские дворяне, послужив верою и правдою, послужив Богу, царю и отечеству, возвращались в свои поместья, жили в деревенских замках своих как маленькие царики, гуляли с своими соседями, и в те веселые минуты, когда Оссианская *чаша радости* вокруг ходила, рассказывали друг другу свои славные подвиги и показывали раны, полученные ими в служении отечеству. Лиодор согласно с нами утверждал, что тогда было в дворянах наших более *духа*, более характерной *твердости*, нежели ныне, когда мы, погнавшись за блестящею *наружностию* других наций, оставили все то, чем Бог и Натура хотели отличить нас от других народов земли, оставили, *забыли самих себя* и сделались во всем *учениками*[1], не будучи мастерами ни в чем.

С сего времени мы были всякий день вместе с Лиодором, вместе обедали, вместе ходили и вместе проводили вечера, рассуждая о разных важных предметах, сообщая друг другу примечания, сделанные нами в путешествиях, и взаимно объясняя наши мысли. — Давно уже расстался

---

[1] Сноски: 1
И в самой литературе. (*Примеч. автора.*)

я с Лиодором — моря разделяют нас, — но я еще и теперь вижу его перед собою и слышу голос его. Ах, милая Аглая! как любезен казался он нам в каждом взоре, в каждом слове и в каждом своем движении! Все, все показывало в нем кроткую душу, любовь и чувствительность. Все было отменно приятно в устах его, даже и тогда, когда говорил он о вещах самых обыкновенных; потому что слова его изливались всегда из сердца и, будучи, так сказать, согреваемы внутренним огнем души, трогали слушателей и воспаляли воображение самых холодных людей. Но Лиодор не только говорить умел — он *умел* еще *слушать*, так что всякий любил ему рассказывать, открывать свою душу, и всякий говорил с ним лучше и красноречивее, нежели с кем-нибудь. Вид его, взоры, улыбка, слеза имели сию удивительную силу, отвечая совершенно мыслям и чувствам рассуждающего или повествующего. Всякий видел, что Лиодор понимал его даже и тогда, когда дело шло о тонкостях Кантовой метафизики; всякое нежное сердце находило в нем брата сочувственника, и всякий — любил Лиодора.

Около месяца жили мы таким образом. Почтенный мой знакомец Лафатер говорит, что, пробыв с человеком два дни от утра до вечера, прони-

цательный наблюдатель успеет осмотреть все ущелины его сердца. Я думаю, что Лафатер прав и что человек никаким притворством не может скрыть своей внутренности от острых глаз (какими Натура, правда, не всех одаряет). По крайней мере, Лиодор против воли своей показал нам, что таилось в его душе, и мы скоро приметили, что, несмотря на его приятные улыбки, несмотря на веселый тон его обхождения, мрачная меланхолия глубоко в нем вкоренилась. Редко румянец показывался на щеках его, пробиваясь сквозь их бледность; часто природная светлость глаз его скрывалась в какой-то черной туче, и вдруг печальная ночь распространялась по лицу его, на котором за минуту перед тем сиял веселый полдень; часто после шутливого разговора он забывался, складывал руки, поднимал глаза на небо, и нечто подобное слезам блистало в глазах его; опомнившись, он улыбался и между тем старался вспомнить, о чем говорено было. Мы не хотели быть нескромными и боялись оскорбить его изъявлением нашего сожаления (сколь оно ни было искренно), надеясь, что со временем он сам откроет нам свою душу. Ожидание нас не обмануло. Пришедши к нему однажды поутру, нашли мы его лежащего на постеле

и со слезами целующего маленький портрет, висевший у него на шее. Увидев нас, хотел он его спрятать; но вдруг одумался, снова посмотрел на него, показал нам и с печальною улыбкою спросил: *хороша ли она?* Мы увидели изображение приятной, миловидной женщины и отвечали ему, что она прекрасна. «Была, — сказал он, — была! Ее уже нет на свете!» Тут Лиодор обоими руками прижал портрет к груди своей и хотел, казалось, остановить тем вздохи, силившиеся из нее вылететь. «Друзья мои! — продолжал он, видя, что мы тронулись, — друзья мои! я ввожу вас в святилище моего сердца!.. Знайте, что я любил, и так, как только один раз в жизни любить можно. Но Судьба лишила меня той женщины, которая была мне всего дороже, и сердце мое облеклось в вечный траур. Так, друзья мои! болезнь моя неизлечима, и самая дружба ваша может только на время облегчить ее. Я читаю огорчение в глазах ваших, простите мне!» — Мы обнимали его, и слезы катились из глаз наших. Наконец он спрятал портрет, встал, оделся, вышел с нами из дому, сел на высоком берегу шумящей Ревы и сказал нам: «Здесь выслушайте мою историю, которая до теперешней минуты была вам только отчасти известна». — Мы сели вокруг его, и Лио-

дор, собравшись с мыслями, начал говорить.

«Мне было еще не более двенадцати лет, когда отец мой послал меня в Лейпцигский университет. Там душа моя получила первые систематические понятия о вещах, окружающих нас, и о самой себе; там научился я чувствовать и давать себе отчет в чувствах своих; там ученейшие мужи Германии образовали мой разум; там под руководством их вступил я в пространную область наук, обозрел магазины знаний человеческих, собранных в течение веков, и присвоил себе опыты времен прошедших; там душа моя возрастала вместе с моим телом, и чувство сего возрастания радовало меня несказанно. Сердце мое было спокойно, ученье меня веселило, часы отдохновения имели свои приятности — счастливое время!

Я прожил там уже около семи лет, когда получил печальное известие о смерти отца моего. Она меня тронула, огорчила, однако ж не так сильно, как бы смерть хорошего отца долженствовала огорчить чувствительного сына. Причиною того была долговременная разлука наша, которая в юном сердце моем ослабила чувства сыновней нежности, загладив в памяти моей образ ее предмета. Если вы, друзья мои,

будете когда-нибудь отцами и захотите, чтобы дети любили вас нежно, и если до того времени не переменится свойство сердца человеческого, то воспитывайте их при себе и не расставайтесь с ними надолго! Но письмо, которое через несколько месяцев после того получил я от матери моей, меня очень растрогало. Оно дышало любовию. Каждая строка, каждое слово проницало до сердца. Печальная супруга ожидала утешения от сына, который остался в свете единственным ее сокровищем. Она звала его в свои осиротевшие объятия, но более просила, нежели требовала. «Обрадуй своим присутствием горестное мое уединение (писала она); возврати мне сына, моего любезного, дражайшего сына, которому теперь единственно посвящено мое сердце; услади остаток дней моих, и милосердый Бог наградит тебя за то в течение твоей жизни. Если же привязанность тебя к учению не позволит тебе так скоро оставить Лейпцига, то, по крайней мере, отпиши ко мне, когда — когда нежная мать твоя может насладиться последним счастием в своей жизни, счастием обнять тебя, милого своего друга, плакать и рыдать от радости, смотреть на тебя и не насмотреться. Но если Богу угодно будет прекратить дни мои до твоего возвраще-

ния, то будь уверен, что предметом последней мысли моей, последнего чувства, последней слезы и последнего вздоха был ты, любимец души моей!» — Я омочил бумагу сердечными слезами, простился с моими учителями и с каким-то печальным предчувствием поехал в свое отечество, которое сделалось для меня совсем чуждо и в котором не было для меня ничего драгоценного, кроме моей родительницы. Она жила и деревне близ Казани; я спешил туда — летел на двор, на крыльцо, в комнаты — и люди в черном платье меня встретили. Я затрепетал — предчувствие меня не обмануло — за три дни перед тем опустили гроб ее в землю!.. Вот первый удар Судьбы, который отозвался глубоко в моем сердце! Чувства меня оставили. Пришедши в память, я велел вести себя к ее могиле. Там-то, друзья мои, там-то почувствовал я, что у меня была мать и что я лишился ее! Холодная земля согрелась от слез моих — и несколько дней кряду, дней тоски и печали, находил я единственное утешение в том, чтобы рыдать над ее гробом. Мысль, что я мог бы приехать к ней еще задолго до ее смерти — мог бы показать ей всю любовь свою, всю сыновнюю нежность и тем осчастливить конец ее, — мучила меня ужасно. Ах! при смерти

своей (думал я) не имела она утешения видеть, что у нее есть чувствительный сын! Тысячу раз упадал я на колени и молил Бога, чтобы он позволил ей из тьмы духовного мира обратить взор свой в мир, оставленный ею, и видеть чувства моего сердца!

Наконец волнение скорби во мне утихло; но кончина моей матери покрыла для меня мраком все мое отечество, и мне казалось, что в пределах его нет для меня ни радости, ни веселия. Выронив последнюю слезу на гробе родительницы, на гробе отца моего, спешил я выехать из России и решился искать утешения в той земле, которой столица почиталась издавна столицею забав и удовольствий. Я приехал в Париж с деньгами и с хорошими рекомендациями; был ласково принят в разных домах; увидел великолепные зрелища всякого рода; пленялись глаза мои, пленялся слух мой; все призывало меня к утехам, к наслаждению; любовь моя к наукам и к художествам везде находила себе пищу; ученые, артисты меня ласкали, наставляли; я восхищался общим тоном учтивости и полюбил приветливых и благородных французов. Вы сами путешествовали, друзья мои, и видели много земель и много наций; скажите, какой народ

умеет так обласкать, так одолжить иностранца, как французы? (Мы согласились с Лиодором, и он продолжал свою повесть.)

Около трех лет прожил я в Париже безвыездно, и время сие прошло, как приятный сон. Наконец душа моя потребовала перемены в удовольствиях; охота к путешествиям во мне пробудилась, и я поехал в Гишпанию, в сие отечество романов, которое всегда представлялось моему воображению в привлекательном виде. Там нашел я прекрасную землю, прекрасный климат; там, палимый лучом солнечным, погружался я в прозрачные струи тихой Гвадианы и наслаждался всеми приятностями прохлады; там отдыхал я в пальмовых рощах и не завидовал никакой восточной роскоши. Но бедность, невежество и суеверие жителей; множество тунеядцев, которым дано право жить трудами других людей и которые стараются погашать в народе всякую искру просвещения для того, чтобы долее пользоваться его терпением; необработанность земли, опустевшие города и деревни; некоторое уныние, некоторое усыпление, видимое во всей нации, — все это производило во мне неприятные чувства, и я вздыхал о бедных гишпанцах, нищих среди богатства и печальных в объятиях веселой

Природы. — Оттуда возвратился я во Францию и приехал в Марсель. Тут, любезные друзья мои, узнал я все счастие, к которому Натура сотворила меня способным, — узнал, насладился им и потом лишился его навеки.

Марсель мне так полюбилась, что я решился прожить в ней несколько месяцев. Вы знаете этот город, средоточие восточного торгу; знаете славную его пристань, наполненную кораблями разных наций; знаете прекрасные его окрестности, плодоносные долины и холмы, украшенные цветущими садами и сельскими домиками или бастидами. Я познакомился с лучшими домами и проводил время свое или в приятных обществах, или в приятных уединенных прогулках.

В один прекрасный вечер отошел я от города далее обыкновенного; солнце, сиявшее на чистом небе, закатилось за зеленые пригорки и скрылось от глаз моих; луна явилась в серебряной своей ризе и тихо возвышалась на голубом своде; блестящие звезды, подобно свечкам, засветились и засверкали вокруг ее; западный ветерок разносил всюду благовоние цветов, которыми усыпаны поля и луга Прованские. Я лежал на вершине холма и смотрел на зыби Средиземного моря,

которое минута от минуты темнело в глазах моих. Наступила ночь, самая тихая и приятная, такая, какою только в южных землях Европы наслаждаться можно. Город вдали осветился многочисленными огнями и вместе с окружными деревеньками и бастидами представлял глазам моим нечто волшебное. Воображение мое мечтало; наконец я забыл все окружавшее меня и погрузился в некоторое восхитительное усыпление. Но вдруг нежный, гармонический голос, соединенный с тихими звуками гитары, в веянии ветерка прикоснулся к моему слуху и приятным образом возбудил душу мою к чувствованию внешних впечатлений. Я начал слушать — ветерок нес его от стены одного сада. Я пошел туда — приближился к самой стене — приложил ухо к отверстию, в ней бывшему, и услышал слова следующей Киабреровой песни[2]:

La Violetta
Che in full'erbetta
Apre at mattin novella,

[2] Сноски: 2

Не прекрасна ли фиалка, // Не прельщает ли собой? // Не амброзией ли дышит, // Утром расцветя весной? // То алеет, то белеет // Сей цветочек в красный день; // Сладкий дух свой изливает // Кроясь в травке под кустом. // Что же с нежною фиалкой, // Что же будет наконец? // Ах! несчастная томится, // Сохнет, исчезает вдруг. // (*Перевод автора.*)

Di, noa e cofa

Tutta adorofa,
Tutta leggiadra e bella?

Si certamente,
Che dolcemente
Ella ne fpira odori;
E n'empie il petto
Di bel di letto
Col bel de' fuoi eolori?

Vaga roffeggia,
Vaga biancheggia
Tra l'aure mattutine;
Pregio d'Aprile
Via piu gentite –
Ma che divine al fine?
Ahi, che in brev'ora,
Come l' Aurora,
Lunge da moi fen vola
Ecco languire,
Ecco pirire
La mifera Viola.

Никогда еще, любезные друзья мои, никогда не чувствовал я от пения такого удовольствия, какое тогда почувствовал; голос (он был женский) сливался с тонами струн, проницал мне прямо в сердце и разливал неописанную сладость по всем его фибрам; грудь моя томилась в нежных чувствах; я таял в восторгах, и слезы струились из глаз моих. Вдруг пение умолкло; я все слушал, но тщетно! везде царствовало глубокое молчание. Мне захотелось видеть небесную певицу — сердце мое говорило, что она прекрасна: кто же не верит сердцу? Я смотрел в отверстие, но не видел ничего, кроме зелени и мрака. Любопытство меня мучило; я пошел подле стены и, к приятному моему удивлению, нашел садовую дверь, до половины растворенную. Вы сами догадаетесь, что я не усомнился войти в сад, хотя весьма бережно — беспрестанно осматриваясь вокруг, перекрадываясь из аллеи в аллею и боясь ступить на траву всею ногою, чтобы не сделать шуму и не испугать моей певицы. Но долго искал ее тщетно и начал уже думать, что она ушла из саду, как вдруг сквозь ряд деревьев увидел на берегу чистого бассейна сидящую молодую турчанку. Вы видели ее изображение, друзья мои; но оно не представляет ни тысячной доли

ее прелестей. Если бы вы тогда на нее взглянули, как она на дерновом канапе сидела, устремив блестящие черные глаза свои на светлый месяц, который с высоты лобызал ее своими лучами и освещал снежную белизну лица ее, алые щеки, алые губы, подобные розе, к которой ни дыхание бури, ни рука смертного не прикасалась! Если бы вы, по крайней мере, взглянули на зыблющийся образ ее в кристальной воде бассейна, образ, которым, казалось, и самые струи любовались! Без того вам трудно иметь понятие о чувствах, с какими я рассматривал незнакомую красавицу, стоя неподвижно под ветвями дерев и страшась дыханием своим пошевелить на них листочек, чтобы не прервать священного молчания, которое вокруг ее все предметы соблюдали. Наконец она встала — прелестный рост, прелестный стан! — посмотрела вокруг себя, сняла с головы своей белую кисейную чалму, на которой блистал крупный восточный жемчуг, — черные волосы ее покатились по плечам и упали почти до самой земли. Потом расстегнула она верхнее свое платье, скинула его — трепет разлился по моим жилам — я увидел грудь белее Паросского мрамора, подобную полному месяцу, грудь, которая могла бы служить моделью Фидиасу, когда он об-

разовал Медицейскую Венеру. Тут мрак покрыл глаза мои — я не видал более ничего, и через несколько минут, как будто бы сквозь приятный сон, услышал в бассейне тихое плесканье. Ночь была тепла — прекрасная турчанка освежалась в прохладном кристалле.

Но скоро упоение, чувств моих прервалось от сильного лая; я вздрогнул и увидел подле себя маленькую собачку, которая со всех сторон на меня бросалась, хватала за полу и подавала госпоже своей громкую весть о близости чужого человека. Признаюсь, что я испугался и не знал, что делать; наконец, опомнившись, побежал к дверям, к счастию, скоро сыскал их и вышел из саду. Часы мои показывали полночь; я возвратился в город и в великом утомлении бросился на постелю…

1792